

**Этих дней не смолкнет горе...
Стой! Руки за голову! Лицом к стене! Молчать!**

Сперва – и не раз!– мы с вами это в книгах читали, в кино слышали и видели. В фильмах про войну, которые лучше русских никто в мире снимать не умел, не умеет и вряд ли когда-нибудь сумеет. Потом, спустя почти четверть века, вашему покорному слуге такое унижение, а это самое, полагаю, мягкое, самое ласковое слово, которое в подобных случаях можно употребить, или, вернее, такой страх довелось испытать на своей, как говорится, шкуре.

И опять это связано было с немцами. Только с той разницей, что на экране бряцали затвором и выкрикивали лающим голосом эти больно по ушам, вообще по человеческому достоинству бьющие слова солдаты фашистского вермахта, а в реальной жизни – военнотружущие бундесвера.

Было это в ФРГ, которая в ту пору существовала раздельно с ГДР (о падении Берлинской стены и воссоединении двух Германий, конечно, никто и помышлять тогда не смел), когда в Мюнхене проводилась Олимпиада-72, и автор этих строк был аккредитован при ее пресс-центре.

В первый и последний, надо полагать, раз в программу Игр были включены тогда соревнования по водному слалому, и мне остро вдруг захотелось посмотреть своими глазами, что же это такое, когда по течению бурной горной речки, по ее извилистому руслу, самой природой напичканному огромными валунами, многочисленными порогами запускается утлая байдарка или, не помню уж точно, каноэ, в котором примостился укутанный в водонепроницаемый бушлат гребец и, орудуя одним единственным веслом, больше лопату напоминающим, мчит хрупкое свое суденышко к финишу. Разумеется, можно и переверачиваться, можно бесчисленное количество раз окунуться в забортную воду – все это фиксируется бесстрастным секундомером, и победителя выявляет наименьшее время, затраченное на прохождение дистанции. Нельзя только сходить с нее – это карается «баранкой» в итоговой таблице и отстранением от дальнейшего участия.

Вот с этими мыслями, только что с журналистского спецпоезда, доставившего нас из Мюнхена сюда, в неподалеку расположенный городок Ингольштадт, в окрестностях которого и проводились заезды гребцов – слаломистов, шел я, чтоб скоротать путь, по лесочку к месту старта олимпийцев, как вдруг путь мне преградил хрестоматийно полосатый шлагбаум. И не успел я сообразить даже, откуда он появился и что скрывается за той вот неприметной будочкой на обочине, как где-то сбоку послышался крик, от которого я поневоле похолодел и почувствовал противные мурашки по всему телу:

– Хальт!

Кто это так по-дурацки шутит-то, подумал я, прежде чем оглянулся в поисках того самого шутника, продолжая, однако, шагать в прежнем направлении. Но последующее мгновение ознаменовалось еще более грозным окриком:

– Хенде хох! Цурюк!

И только теперь я заметил, как за шлагбаумом показалась маскировочная каска и вслед за нею вырос, словно из-под земли, коренастый парень в камуфляже и с недвусмысленно положенной на автомат рукой.

Ноги помимо моей воли прилипли к земле, глаза раскрылись как будто еще шире, и, повертев головой, я увидел справа от себя и слева тоже аккуратно вкопанные в землю таблички, на одной из которых – белой-белой, чернело Stop, на другой недвусмысленно была изображена колючая проволока на фоне не то танка, не то бронетранспортера. И я понял, что, увлеченный думами о сущности и спортивности водного слаломистов и путях-причинах его включения в олимпийскую программу, отклонился от маршрута, по которому аккредитованная братия должна шагать к ложе прессы, и попал в, так сказать, милитаризованную зону (видимо, здесь изначально дислоцировалось какое-то воинское подразделение), куда вход посторонним строго воспрещен и солдат, меня столь грозно остановивший, тысячекратно прав. И, кое-как извинившись на невообразимой смеси немецкого, английского, русского и азербайджанского вперемешку с испанским Grasia, что означает спасибо, повернул обратно.

Но не был я ни задержан, ни, упаси Боже, арестован. Наоборот, из блиндажика, который я и не заметил, вышел какой-то унтер офицер, вежливо взял меня под руку, помог найти дорогу к той тропинке, которая должна была вывести к реке и вывела-таки после недолгих этих мытарств.

И не было мне нисколько не обидно и не больно, и в душе не осталась та заноза, которая вот уже 21 год ноет и, чувствую, кровотоцит, и слезы не столько боли, сколько обиды невольной наворачиваются на глаза, когда вспоминаю...

И не где-нибудь ведь за три девять земель это произошло, на чужбине, где ты – никто со всеми вытекающими последствиями, и не иноземный ратник тебя так грубо остановил и оскорбил так бесчеловечно, унизил...

А на родной твоей земле с тобой, верным ее сыном с полноправно преданным своему Отечеству. И

которое, однако, столь бесцеремонно и вопиюще откровенно делит собственных граждан на своих – славянами рожденных, кому все дозволено, и «лиц кавказской национальности», коих нужно и можно без объяснения причин третировать и подвергать гонениям, избивать ни за что ни про что, преследовать...

И, едва ли не самое это главное, поднял руку на тебя и испытал при этом садистское удовольствие от глумления над тобой, над твоим человеческим достоинством, над совестью твоей тот, кого ты сызмала боготворил в фильмах и книгах, которые о войне повествовали, в которых он – воин-интернационалист, освободивший мир от нацизма, навсегда избавивший цивилизацию от коричневой чумы, представлявшийся верным другом всех людей доброй воли, твой вчерашний кумир и идол.

Это было крушение всех иллюзий и идеалов, всех устоявшихся представлений о стране, в которой я родился и вырос, о народе чужеземном, который народу моему в приказном порядке предписывали называть старшим братом, о справедливости, доброте, широте души которого навязывали слагать лирические даже стихи, хвалебные оды и эпические легенды. Это был душевный крах, это была подлинная трагедия мышления и сознания!..

А ведь десятилетиями с высоких трибун и газетных полос, в телерадиоэфире, в детском садике и вузовских аудиториях нам внушали, что у наших народов сформировалась культура межнационального общения, и в этом – наша огромное преимущество и наше богатство, которым мы вправе и должны гордиться! В канун такого незабываемого 20 января говорили, да и сейчас говорят: многонациональность – это наша сила. Но какое же злое фарисейство!..

Как больно и тяжело пережить все это! Как трудно, просто невозможно согласиться с такой переоценкой ценностей! Даже если тебе уж много больше 30 и за жизнь свою ты успел навидаться и несправедливостей, и кощунства, и грусти с печалью пополам!..

Не помню точно, конец января стоял на дворе или февраль уже был. Но помню прекрасно, что год 1990-й, принесший всем нам столько горя и печали, только начался, и отголоски той страшной ночи, которую потом кровавой назовут и трагической и которая траурными буквами навсегда вписана в историю нашу, еще слышны были. И в грохоте танков, вдруг глубокой ночью куда-то мчащихся по проспекту Метбуат или по Советской улице, и в гулко разрывающих предутреннюю тишину автоматных очередях, и в мрачных тенях военных патрулей – оружие наизготовку, каски нахлобучены по самые брови, шаг чеканно-оккупационный, – круглые сутки контролирующей площади и магистрали в центре города, даже глухие тупички в районе мечети «Тезе пир» и кривые – косые переулочки в Ичери шэхэр.

Я – дежурный по номеру в типографии издательства «Азербайджан» и, честно говоря, страшно устал. Устал переругиваться с военным цензором, с параинодальной подозрительностью вчитывающимся в каждую строку и каждый раз вздрагивающим, сталкиваясь с каким-нибудь сугубо азербайджанским названием или непонятным термином – да и откуда ему, бедному неучу, знать, что есть на свете, кроме зафиксированных в полевых уставах и штабных наставлениях, еще и иные слова и выражения, что, кроме русских и американцев, тогдашних их вероятных противников, живут на свете еще и азербайджанцы, грузины, таджики; устал от той до блеска отлакированной лжи, которою изобиливали статьи и заметки на всех четырех полосах нашего «Бакинского рабочего»; устал от бурных объяснений с наборщиками, которые только-только прекратили забастовку и лишь перед лицом чрезвычайных обстоятельств возобновили работу...

Должен вам сказать, была то неприятная и непривычная очень картина. Представьте себе огромный цех, всегда ярко освещенный и битком, что называется, набитый людьми, где стучат-гудят лино типы, как по заморскому называют строкоотливные машины, над талерами, на гладкой поверхности которых, верстая газеты, «колдуют» метранпажи, раскидывая набор согласно макету и чертыхаясь, и матюгаясь, всякий раз, когда произведенные в редакции расчеты не соответствуют реальным объемам уже набранных статей, теперь тих и пуст. Только возле входа столпилась огромная масса людей, все в темном, почему-то, и все мрачно молчат. И лишь директор издательства и главный инженер, энергично размахивают руками, пытаются убедить рабочих стать к станкам. Те упрямо безмолвствуют, и только самые говорливые время от времени что-то произносят, однозначно покачивая головами.

Начали эту бучу наборщики, к ним незамедлительно присоединились печатники, переплетчики, стереотиперы, «барабанщики» из ротационного цеха: «Первое требование – «Правду» и другие московские издания печатать отныне отказываемся. И второе – пока все местные газеты в наглуемую врут и состоят на службе оккупантов, мы работать не будем!»

Обстановка как будто разряжается с появлением группы офицеров. Один из них, видимо, старший, то вспрыгивает на подоконник и зычно, голосом, словно на полковом плацу, орет:

– На размышление вам 3 минуты! Если через три минуты вы не разойдетесь по своим местам и не приступите к работе, я даю команду автоматчикам, они вон за дверь в коридоре (и в самом деле, в переходах, ведущих к корректорским кабинетам, к кладовой шрифта, к туалетам и иным бытовым и вспомогательным помещениям нетерпеливо переминаются с ноги на ногу десятка полтора спецназовцев – отъявленные головорезы под два метра ростом каждый, все в бронежилетах, нацеплены к стволам штык-ножи, взгляды настроенные, не сулящие ничего доброго). И уверяю вас, – голос говорившего

наливается сталью и так пышет нескрываемой угрозой, – порядок будет наведен в считанные мгновенья, – и добавляет на полтона ниже, но не менее жестко: – И не таких усмиряли!

В ответ – ни звука. И тогда офицер с подоконника пускает в ход последний, как он, видимо, считает, козырь свой: И не думайте, что заменить вас некем. Стоит мне только захотеть!

– А текст набирать кто-нибудь из них умеет? – слышится из толпы рабочих озорной, несмотря на весь драматизм ситуации, голос, и я узнаю долго работавшего у нас в «Идмане» Абдула, неумного балагура, чувства юмора, не теряющего в самой отчаянной обстановке, метранпажа Божьей милостью.

– Или полосы верстать? – вторит ему кто-то другой.

– За этим дело не станет! – офицер, неплохо, надо отдать ему должное, подготовился к этому неоднозначному общению. – Мне нужно ровно две минуты, не больше, чтоб позвонить в Ростов или Минводы, и оттуда на военных бортах сюда будут переброшены десятки линотипистов и верстальщиков. Они и займут ваши места у станков. Ну, а вы, – откровенная издевка слышна теперь со всей явственностью в тоне говорившего, – будете подвергнуты аресту и осуждены согласно законам чрезвычайного положения. Я не юрист и в военном трибунале не служу, но могу предположить, что меньше, чем по 5 лет, никто из вас не получит.

Сгрудившиеся в плотно сбитую толпу люди глухо зароптали, как-то еще теснее сплотились (не подумайте, что ваш автор красного словца ради написал эту фразу) плечом к плечу – и это мне вовсе не показалось. Вгляделся: на лицах по-прежнему была написана решимость, глаза метали громы и молнии, с языков если и срывалось что-то, то была это ненормативная лексика, пересыпанная проклятиями.

Я бы, наверное, не обратил внимания на стоявших чуть поодаль 5 – 6 человек, но когда от них отделился кто-то один и подошел к застывшим возле входной двери офицерам и быстро-быстро заговорил с ними, озираясь по сторонам, все взоры обратились к ним. И хоть примостились они в еле освещенном уголке, низко надвинув на лица шапки, не узнать их было невозможно.

Это была бригада «Коммуниста» на армянском языке, органа, к стыду нашему, ЦК Компартии Азербайджана, как и «Коммунист» на азербайджанском и «Бакинский рабочий», имевшего статус главной газеты республики. Одного из них, высокого, пожилого, большеногого, в парткоме издательства из года в год заседавшего, звали Мушег, и знающие, и не знающие его люди поговаривали, что в молодости был он маузеристом, состоял в дашнакских отрядах, с упрочением же советской власти переметнулся в большевики, служил в ЧОНе (части особого назначения, под стать чекистским), а затем обучился нехитрому искусству верстать газету и теперь в Баку армянский «Коммунист» выпускает. Другой был Рамзес – немногословный, вечно небритый угрюмый парень, с откровенным вызовом не отвечавший, если к нему обращались по-азербайджански или по-русски, и я бы не удивился, если бы узнал, что этот самый Рамзес подался в боевики под шумок карабахских событий и стрелял по мирному населению где-нибудь в Агдаме или Кяльбаджаре.

На правах, очевидно, старшего по возрасту и более, что ли, мудрого Мушег и сказал ораторствующему офицеру:

– Ты, матах, не беспокойся. Нас здесь 5 – 6 сознательных наберется, и мы не дадим цеху простаивать... Если нужно, всю ночь напролет будем работать, но все заказы выполним.

Среди военных – оживление. У них, кажется, гора с плеч: вот и решилась проблема сама собою, и никаких дополнительных усилий прилагать не нужно будет.

Однако...

Слова «штрейхбрекер» наборщики и метранпажи молчаливым отказом ответившие на угрозы командира спецназовцев, наверняка, не знали и вряд ли знают ныне. Но слова иные, более звучные и более многозначительные, они помнили с детства. И самое мягкое, самое, можно сказать, интеллигентное было...

– Сволочь ты! Своими бы руками тебя задушил!

– Шкура! Подлец!

– Гнида распроклятая, вот когда истинное лицо твое проявилось!..

Толпа сделала шаг вперед или два, в дверном проеме показались автоматчики из коридора. Казалось, еще миг, и обстановка взорвется вконец, ситуация станет неуправляемой и чреватой последствиями. Но, слава Аллаху, нашелся человек, который сумел ее безболезненно и, главное, выгодно разрулить – Искендер, цехмастер, по вечерам обычно дежуривший и достаточно умело, чтоб ни шомпол не сгорел, ни кябаб (так слово в слово переводится с азербайджанского поговорка, как нельзя полно подходящая, по мнению автора, для описываемого момента). Рывком, что ли, приблизился он к старшему из офицеров и застывшему рядом с ними директору издательства:

– Ладно, мы выходим на работу. Но с одним, – запнулся чуточку в поисках нужного выражения, видимо, потом махнул рукой и решительно продолжил, – условием. Чтоб этой гнили, – махнул рукой в сторону съжившихся при этих его действиях армянских наборщиков, – и духу здесь не было. Не сегодня, нет, – уточнил, резко взмахнув кулаком, под одобрительные взгляды, – а вообще. И никогда!

– Выбирайте, – заключила дружно толпа. – Или – или!

И столько решимости было в этом многоголосии, сколько самоотверженной неуступчивости, что

офицеры, явно нагрывшие сюда с уже принятым решением, переглянувшись и о чем-то наскоро пошептавшись с руководителями издательства и подоспевшими в разгар всех этих событий представителями ЦК партии, согласно закивали. И я даже прочел на их лицах известное облегчение: не так, видимо, легко было бы им воплотить в жизнь все те угрозы, что сулили они бастующим...

На том и порешили. И могу без оглядки на какие-то распоряжения и постановления (они, эти документы, наверняка были приняты потом, задним числом) утверждать, что газета «Коммунист» на армянском языке прекратила свое существование в Баку именно на той забастовке, первой, по-моему, в истории объединенного издательства, принадлежавшего, грубо говоря, ранее Центральному Комитету партии, но к тому времени называвшемуся уже не «Коммунист», а – «Азербайджан» более демократично.

Такое решение устроило, надо полагать, обе стороны, и все разошлись по своим местам. Офицеры во главе с полковником, который, как позже выяснилось, был из Особого отдела, укатили к себе в штаб, а рабочие, еще с полчаса просмаковав подробности только что пережитого и обсудив все возможные последствия, приступили к делу. Правда, с многочисленными опять-таки перекурами и перерывами, но самое главное – линотиписты запустили свои машины и начали выдавать набор, верстальщики принялись раскидывать его по страницам, корректура взялась за читку гранок.

Но, поскольку время было упущено, 7-часовой технологический процесс верстки затянулся. И когда мы, наконец, подписали к печати последнюю по счету полосу – первую, на которую традиционно ставятся особо важные и особо оперативные заметки, было где-то около 3 ночи.

Из цеха в кабинет к себе я обычно возвращался по коридорам – мирно, как-то покойно здесь ночью, ничто не отвлекает, можешь, шагая по пустынным переходам, обдумывать завтрашние планы, вынашивать какую-то идею, которая потом может воплотиться в репортаж или интервью. Но на сей раз дернула меня нелегкая спуститься из типографского корпуса во двор и пройтись по свежему воздуху: показалось, что ночь, хоть и морозная выдалась, но тихая, из окна было видно, что лунные лучи (а что вы на меня удивленно смотрите? Нельзя разве так сказать? Говорим же мы – солнечные лучи. Луна, что ли, не светило, пусть и ночное?!) заливают всю округу и должно быть в их безмолвном свете безмятежно на душе и приятно.

Я успел сделать по двору каких-нибудь 10 – 12 шагов. Сперва мне в спину больно уткнулось что-то очень острое и безжалостное (штык, как впоследствии я понял и содрогнулся при этом), потом чья-то рука жестко взяла меня за плечо и, грубо тряхнув, словно гвоздями прибила к асфальту там, где я стоял, и уж после всех этих беспардонных и совершенно не понятных манипуляций над ухом раздался оглушающий крик:

– Стоять! Руки за голову!

И спустя пару – другую секунд:

– Лицом к стене! Не оглядываться! И – молчать!

Каким-то чудом я все-таки ухитрился оглянуться, за что мгновенно был награжден увесистой оплеухой. Хорошо еще, что успел отвернуться, иначе очки мои были бы разбиты вдребезги – бил, как я позже осознал, профессионально обученный этому заплечных дел приему, и я даже сейчас не совсем понимаю, как удержался на ногах, не упал...

Но заметить заметил, что за спиной у меня стоит здоровенный амбал в плащ-палатке, накинутой на плечи, в надвинутой по самые брови стальной каске, от которой отражаются лунные блики, и злыми-презлыми глазами под неумолимо сдвинутыми белобрысыми бровями и над остро вздернутым носом.

– Да что ты, солдат, – попробовал я, скрепя сердце, унять боль в ухе и стараясь как можно скорей забыть о нанесенном мне ударе. – Я ж из наборного цеха иду... К себе, в редакционный корпус... Я в «Бакинском рабочем» только что отдежурил...

– Молчать! – лениво и в то же время недобро бросил он в ответ и требовательно вскричал: – Документы!

Я бросился шарить по карманам, хотя прекрасно помнил, что и удостоверение личности, и спецпропуск, дающий право беспрепятственного нахождения на улице в комендантский час, и даже паспорт оставил в куртке, а в цех пошел в пиджаке одном, явно рассчитывая, что возвращаться буду не по двору. А в коридорах охрана и патрули не были предусмотрены.

Часовой, или как его там, не без моей подсказки понял, что документов у меня нет. И совсем, что называется, озверел. Осыпая меня отборным матом и поминая жгучими словами свою караульную службу, он достал из кармана свисток, наподобие тех, что применяют футбольные арбитры, и 3 – 4 раза резко просигналил в темноту ночи. И не прошло и минуты, как со стороны въездных ворот к нам приблизилась группа вооруженных да зубов солдат.

Теперь уже со мной никто не разговаривал. Меня, хотя я и орал, рассчитывая, что кто-то понятливый и наделенный полномочиями среагирует да остановит этот произвол, и пытался усостыжить этих вошедших в раж уроженцев то ли средней полосы, то ли таежных сибирских окраин, и даже упрашивал их позвонить редактору нашему на худой конец и установить мою личность, просто-напросто не слышали и не слушали.

Для начала я добрую четверть часа простоял, упершись высоко поднятыми над головой руками в стену («Шире ноги!», – и безжалостный удар кованым сапогом по лодыжке), и за это время меня основательно прошмонали, вынув из карманов наличные деньги и все до единой бумажки (в основном, это были ТАССовские ленты, которые, сняв с телетайпа, я за ненужностью второпях рассовал по карманам), потом, переспросив несколько раз имя мое и фамилию, да так и не запомнив, сержант, командовавший этим нарядом, записал их на бумажке и передиктовал куда-то по рации. И лишь после этого, успев основательно замерзнуть на холодрыге, я был препровожден в караульное помещение.

Совсем еще недавно, до событий, это была будочка, отведенная под бюро пропусков издательства, и здесь, кроме телефона, колченого стола и пары списанных стульев, ничего не было. Сегодня посреди комнатухи пылала жарко натопленная печь-«буржуйка», стояло несколько топчанов (и как они тут уместились-то?), вдоль стен сидели на корточках несколько солдат. И – молоденький лейтенант, несомненно, их командир с не по годам суровым выражением на лице.

Вот ты-то мне, голубчик, и нужен, подумал и, вырвавшись из рук доставивших меня сюда солдат, шагнул к нему. «Видите ли, лейтенант, я ...» – не успел, однако, я закончить свою фразу, осекся под тяжелым, ненавидящим взглядом синих глаз.

– О тебе уже доложено куда следует, – отрывисто, явно кому-то, подражая, сказал лейтенант. – Сейчас за тобой приедут, и ты у нас, мерзавец, заговоришь, все-все расскажешь, кто тебя заслал и для кого старался тут на ночь глядя...

– А по какому праву, лейтенант, вы со мной «на ты» разговариваете? – спросил я, пока до меня не дошла страшная суть его слов. А когда дошла-таки до моего сознания, меня охватил самый настоящий ужас: да как я докажу этим уже заранее меня в шпионы и диверсанты записавшим молодчикам, кто я? И найдется ли сейчас, в поздний ночной час, тот, кому до моих бед будет дело?!

А потом говорят, что нет Бога на небесах и все, что творится на Земле нашей грешной, происходит само по себе, и совершенно случайно. В тот как раз момент, когда я представлял себе незавидную свою участь и мозг мой лихорадочно искал выхода из этого тупика явно невыгодно складывающихся обстоятельств, за моей спиной распахнулась дверь караулки и вошли несколько человек, минимум один из которых говорил по-русски с очевидным азербайджанским акцентом.

Я непроизвольно обернулся и взглядом встретился с глазами невысокого милицейского полковника при черных усах и щедрых темных бровях, густо нависших над карими глазами. Где-то и когда-то я его, несомненно, видел, но ни имени, ни фамилии, ни, тем более, занимаемой должности этого человека не знал.

Но самое главное и самое важное: он, этот полковник, знал меня. Так и сказал, вплотную подойдя ко мне со спины:

– Если не ошибаюсь, вы – журналист Акшин Кязимзаде и часто пишете о футболе...

– Не ошибаетесь, – сказал я, с надеждой, что уж таить, глядя прямо ему в глаза. – Попал вот в идиотскую историю...

– Я уж вижу, – последовало в ответ слегка насмешливое. – Ну что ж, попробую вам помочь... – И после небольшой заминки: – У вас что, совсем никаких документов?

– Да Бога побойтесь, – сказал я и по-азербайджански добавил: – У себя в кабинете на шестом этаже я оставил их по какой-то дурости...

Полковник обернулся к лейтенанту и не приказным, как должно было ожидать, а совершенно иным, я бы сказал – просительным голосом проговорил, показывая в мою сторону:

– Он утверждает, что все его документы в кабинете. Давай-ка снарядим одного твоего солдата и одного моего милиционера, пусть поднимутся вверх и на месте посмотрят его удостоверение. И тогда нам с тобой станет ясно, врет он или...

Лейтенант для вида немного помялся, вяло посопровтивлялся, но просьбе старшего по званию, даже если учесть, что в те страшные, непонятные дни наша азербайджанская милиция вполне официально была подчинена оккупационным войскам и какой-нибудь сержант советской армии мог отдать приказ старшему офицеру местных правоохранительных органов, не отказал. И в этом было мое спасение.

Втроем – с прапорщиком из войсковой части и милицейским старшиной из Октябрьского райотдела – мы, не дожидаясь лифта, взбежали на 6-й этаж, я быстренько отпер своим ключом кабинет и, жадно выдвинув ящик письменного стола, достал всю кучу своих документов и торопливо протянул их своим сопровождающим, настороженными глазами отслеживавшим все мои движения.

Однако рассматривать их они не стали, жестом велели мне возвращаться обратно в караулку. Кляня себя и судьбу свою, так неловко складывающуюся, я, делать-то нечего, поспешил за ними.

На мое счастье, полковник-азербайджанец все еще был там и о чем-то оживленно переговаривался с лейтенантом. Прапорщик услужливо протянул им мое удостоверение и спецпропуск, подписанный самолично военным комендантом, они поочередно внимательнейшим образом просмотрели документы, перекинулись парой каких-то слов, и, наконец, лейтенант обернулся ко мне:

– Вот что, идите-ка к себе домой, – ага, уже «на вы» не без злорадства подумал я, хотя наверняка не об этом надо было мне думать. – И скажите спасибо товарищу полковнику. Он за вас поручился, и мы не

имеем права, – сказал и тут же поправился, – не хотим отказать ему в просьбе.

– Вы все слышали и запомнили, Акшин муаллим?– спросил полковник, когда мы уселись в его машину и он, спросив мой адрес, велел водителю сперва отвести меня. – Мой вам совет, впредь документы не забывайте носить при себе. Тем более сейчас, в это смутное время... А представляете, приехал бы я в издательство на полчаса раньше или позже?..

Я на секундочку представил, и мне опять стало жутко!..

Кое-как пересилил себя и спросил, кому я все же обязан чудесным своим освобождением и как зовут моего ангела-хранителя. Но он просто-напросто отмолчался, и я понял, что дальнейшие расспросы бесполезны.

Едва на следующий день я пришел на работу, мне позвонила по внутреннему секретарь из приемной редактора:

– И где это вы пропадаете? – хотя на часах было лишь минут 15 – 20 десятого. – Он уже несколько раз вас спрашивал.

Теряясь в догадках, зачем я понадобился шефу так рано, я почти вбежал к нему, но был остановлен на пороге недружелюбным вопросом:

– И что ты там учудил ночью, что мне из-за тебя из МВД звонили?

Честно говоря, я сам собирался все в подробностях доложить редактору, но тут он, оказывается, в курсе дела и, более того, поторапливает меня.

Я и рассказал все, как было. И не забыл даже добавить, что полковник тот, к сожалению, почему-то решил сохранить инкогнито.

Редактор мой коротко рассмеялся:

– Он в аппарате МВД служит, и зовут его Алиев. Так, во всяком случае, он мне представился по телефону, указал подбородком на аппарат правительственной связи, помолчал, что-то явно обдумывая: – И просил передать, чтоб ты не волновался. Лейтенанту тому, говорят, дали по шапке, дабы не задибался и научился разговаривать, пусть даже с задержанным. И еще полковник просил напомнить тебе то, о чем он с тобой говорил, прощаясь у твоего подъезда. Ты-то запомнил это?

И еще как! С тех пор из дому без документов – ни шагу. Даже раненько утром, когда на прогулку выхожу затемно, даже если в близлежащую булочную за хлебом, даже, извините за натурализм, мусор иду поздним вечером выносить. Знаю, ибо не понаслышке, что это такое: оказаться остановленным по какой-либо причине без документов. Даже сейчас, в мирное время...

**Акшин КЯЗИМЗАДЕ,
заслуженный журналист Азербайджана
Баку, 1990 г.**